

ЕВРЕЙ И ДОСТОЕВСКИЙ

... Sua fata habent libelli – и у книг есть судьба. Во всяком случае у книг на тему «Достоевский и евреи». Может быть потому, что она все еще пульсирует притяжениями и отталкиваниями, враждой и любовью, не избытыми за полтора века. Мне пришлось уже писать о романе «Лето в Бадене» (см. книгу вторую З.З.). Судьба книги известного ученого и биографа Достоевского Леонида Гроссмана «Исповедь одного еврея» не менее драматична. Изданная в 1924 году (в Германии в 1927), она так и пропала бы «без вести», если бы наше время не вернуло ее из тричетвертвекового забвения, почти небытия в печать (изд. «Деконт+» изд. дом «Подкова», 2000).

... История Авраама-Урии Ковнера (выходца из гетто, ешиботника, потом – боевого русского журналиста, потом – уголовного преступника и арестанта, а под конец исправного чиновника), на которую ученый наткнулся, занимаясь разысканиями о Достоевском, столь же исключительна, сколь и массовидна, даже модельна. Из тюрьмы, перед отправкой в Сибирь Ковнер обратился к писателю с письмом и был услышан. Так этот мятежный и взыскующий дух вошел в русскую словесность: как корреспондент Достоевского, а впоследствии и философа Розанова, тоже известного антисемитизмом...

1. Еврей

Можно с уверенностью сказать, что и в наши дни – взрыва этничностей на пороге глобализации – Авраам-Урия, он же Альберт, он же Аркадий Ковнер, был бы фигурой проблемной... Начало его биографии похоже на многих бунтарей позапрошлого века. Увидев свет в многолетней нищете и тесноте Виленского гетто (1842 г.), он до девятнадцати лет не знал даже титульного языка Российской империи. Отец его был учен, но беден, нищ, но учен, так что способный отпрыск «в четыре года уже сидел над Библией, а в шесть приступил к Талмуду». Восьми лет он был отдан в раввинскую школу, двенадцати бежал и стал странствующим студентом-«бохуром», состоящим на кормлении у каких-либо семи имущих семей. Полтора века спустя, когда вся эта «еврейская жизнь» погибла в газовых камерах, обычай кажется высоким. Но можно представить, что «тинейджер», как нынче говорят, обедающий по чужим, не всегда «добрым людям», а восемнадцати лет отданный по сватовству в примаки в незнакомую семью лавочника, вынес из детства и отрочества дерзкую мечту стать реформатором своего народа. Из древней традиции – как многие тогда – он катапультировался в пространство-время современности и совершил невозможное: за четыре года сдал экзамен на аттестат зрелости, овладев русским, немецким и французским, основами философии и естественных наук, которые и стали его символом веры. Из талмудиста сделался атеист, из еврея «общечеловек» – короче, пламенный «шестидесятник» позапрошлого века. Первые книги (еще на библейском языке) принесли ему среди соплеменников ярлык отступника. Добравшись из Киева до столицы империи, он отдался русской боевой публицистике («либерал с оттенком радикализма, – напишет о нем впоследствии Розанов, – «еврейский Писарев»). Стронник ассимиляции, социальный критик, утилитарист, «экономист», он, однако, столкнется с русской литературой на самый странный, даже фантастический лад и станет знаменит на всю Россию не как реформатор, а как уголовный преступник.

2. Достоевский

Известно, что прямого влияния на жизнь литература не оказывает. Все же некоторые молодые люди в известных обстоятельствах выбирали самоубийство: «уже написан “Вертер”». Так и искусительное исповедание Раскольникова: «Тварь я дрожащая или право имею?» попало в солнечное сплетение жизненных проблем Ковнера, когда, оставив журналистику, он стал мелкой сошкой в банке. Судьба, как назло, подстроила ему подобие «предлагаемых обстоятельств» героя «Преступления и наказания». Бедная семья Кангиссеров, пустившая его на квартиру («нищета была страшная, жили без всяких средств»), кажется еврейским подобием Мармеладовых, вплоть до «бедной Сонечки» (не «уличной», правда, зато больной туберкулезом). Мотив Раскольникова не фантазия – он будет даже муссироваться в суде. Правда, вместо радикального жеста убийства старухи-процентщицы Ковнер ограничится подлогом («три процента с чистой прибыли за один год пайщиков богатейшего банка в России»). Грехопадение «либерального» экс-журналиста сделает его незаменимым героем громкого судебного процесса. Вот тогда-то, признав уголовную ответственность, но не моральную вину, он обратится за судом совести к автору романа...

Здесь нет места останавливаться на перипетиях их переписки («Я редко читал что-нибудь умнее... Письмо Ваше увлекательно-хорошо...»). Но внимание Гроссмана привлечет не только «синдром Раскольникова». Не менее удивительно, что – преступник для одних, отступник для других – («русский Уриель Акоста» назовет его Гроссман), обращаясь к писателю, так сказать, *de Profundis*, не о себе одном печется, но задает нелицеприятный вопрос о предрассудке «ненависти к «жиду» – не только к «эксплуататору» относящейся, но и к «громадной массе нищенствующего народа».

3. Евреи и Достоевский

Очевидное несхождение между постулатом «всемирной отзывчивости» и «единения» у Достоевского и сводом аргументов пошлого бытового антисемитизма (служащего и ныне для желающих «классикой» жанра) заставляет Гроссмана посвятить «проклятому вопросу» собственное послесловие, поверяя публицистику писателя – творчеством, а творчество – публицистикой. Приходя к мысли о том, что «совмещение философского семитофильства с практическим антисемитизмом было уделом многих мыслителей», он глядит не только в прошлое, но и – увы – в наши дни. Но если практический антисемитизм есть нередко ревность одного мессиянства к другому – древнейшему, то что такое влечение евреев (того же Гроссмана, многолетнего исследователя писателя) к Достоевскому?

Выскажу предположение, что, невзирая на антисемитские декларации «Дневника писателя», они могли вполне узнавать и отождествлять себя с персонажами романов Достоевского. Из всех «униженных и оскорбленных» они были заведомо унижены «специальными карательными законами». Пусть в жизни они не нравились ему; зато «Книга Иова» – это первое и мятежное вопрошание о безвинном страдании – с детства и до смерти была его вечным спутником и «первоисточником». Эта родственность его духа со «сложной сущностью» духа «библейского», «грандиозного в своих отчаяниях и надеждах» (наблюдение того же Гроссмана), была и обратной родственностью. Не оттого ли писатель услышал своего странного корреспондента, что Авраам – Альберт – Аркадий Ковнер и был практическим – и потому искаженным «правдой жизни» – воплощением пламенного – до саморазрушительности – искательства его персонажей? Разумеется, то, что увлекательно в человеке-идее, в человеке реальном принимает вид морального изъяна. Стоит, впрочем, отметить, что прокурор Муравьев, ставши министром, поможет своему бывшему обвиняемому, отбывшему наказание, получить в провинции место чиновника. Стало быть, поверит, что можно, будучи честным и совершив «под влиянием обстоятельств» преступление, «остаться опять и навсегда вполне честным человеком». Но исправно неся госслужбу и даже приняв ради молодой невесты крещение, Ковнер в переписке с Розановым станет, как и прежде, страстно защищать выстрадавший атеизм, а будучи «отступником» иудаизма, снова и снова с болью поднимать «проклятый вопрос».

... Если согласиться, что экзистенциальные романы Достоевского диалогичны (Бахтин), то можно сказать, что Урии-Аврааму Ковнеру досталось исполнить будоражащую и взыскующую партию эмансипированного еврея в мучительных диалогах русской судьбы, не избытых и по сей день...